

В. А. ТЕЛЯКОВСКИЙ

б. директор императорских театров

ВОСПОМИНАНИЯ

1898—1917



Издательство «ВРЕМЯ»

ПЕТЕРБУРГ

1924

Обнимаю Вас, дорогой Владимир Аркадьевич, и шлю искренний привет мой глубокоуважаемой Гурле Логиновой, а также прошу передать привет мой Вунчу, Крупенскому, Сюленьке*, Головину и Косте Коровину. Искренне преданный и всегда готовый служить Вам Федор Шаляпин.

P. S. Газеты послали Вам, но в них нет совершенно серьезной критики. Странно—или здесь не понимают или нет серьезных критиков.

Ф. Шаляпин давно и хорошо знал художников К. Коровина и А. Головина, так много мне помогавших в художественных вопросах. Это были, так сказать, люди свои, друг друга очень ценившие и способные часами спорить о всякой мелочи, касающейся театров. Особенно близок к Ф. Шаляпину был К. Коровин, человек умный, наблюдательный, чуткий, с необыкновенно тонким чисто русским юмором.

Шаляпин часто бывал у Коровина и этот последний у него. Летом, в свободное от гастролей время, Шаляпин часто гостил в имении К. Коровина около станции Итларь по Ярославской железной дороге. Имение это Коровин купил на скромные свои сбережения, построил себе там небольшой домик и занимался живописью и рыбной ловлей, которую обожал и часами мог сидеть с удочкой. Впоследствии имение это Ф. Шаляпин, когда стал много зарабатывать, у Коровина купил, выстроил по плану и рисунку Коровина большой деревянный дом в русском вкусе и прикупил еще участок земли с лесом. Коровин же выговорил себе условие пожизненно пользоваться своим маленьким деревянным домиком, ибо к месту этому

Младший сын мой Всеволод, художник, которого Шаляпин, Головин и Коровин всегда звали: „Сюлька“, „Сюльняк“.

привык, его очень любил и не хотел с ним расставаться.

Бывали там в имении самые разнообразные гости, начиная с М. Горького, В. Серова и кончая секретарем великой княгини Елизаветы Федоровны Н. Жедринским. Бывали и разные местные земские пачальники, о которых не мало Коровин и Шаляпин рассказывали анекдотов; бывало много и москвичей, по преимуществу из художественного и театрального мира или людей, к этим мирам близких. Впоследствии Шаляпин присмотрел и купил еще имение на р. Волге около Плеса. Сам Шаляпин в этих имениях жил мало, особенно, когда стал много летом гастролировать за границей.

Отношения Ф. Шаляпина с К. Коровиным были совсем особенные.

Оба друг друга часто язвили и друг над другом подсмеивались. Шаляпин обычно звал Коровина „Костя“, а Коровин Шаляпина „Федя“. Когда же в спорах они бывали друг другом недовольны, то обращение переходило на „вы“, „Костя“ сменялся „Константином“, а „Федя“—„Федором“.

Недоразумения чаще всего происходили при покупках или продажах Коровинских картин или других каких-нибудь вещей, при чем, обыкновенно, покупателем являлся Шаляпин, а продавцом Коровин. Шаляпин на покупки вообще был скуповат и старался купить дешево, особенно, когда это было за наличные деньги. Коровин же всегда в деньгах нуждался—даже тогда, когда относительно много зарабатывал. Человек он был мало расчетливый, добрый и довольно безалаберный в тратах. Когда денег бывало много, покупал все, совершенно неизвестно для чего. Когда

же приходило время безденежья,—все опять спустилось за гроши.

Одно время, когда Коровин стал принимать большие заказы на постановки в московских и петербургских театрах, он завел у себя целый штат помощников всякого сорта; платил им месячное жалование, иногда сдельно. Деньги брались, конечно, вперед, потом начинались сложные расчеты. Он даже пробовал заводить у себя специального личного секретаря, ибо всегда беспокоился о конечном расчете с дирекцией за выданный авансом, на декорации, в большом количестве холст. Эти расчеты его особенно угнетали, когда контора театров объявляла, что за ним числится несколько сот, а иногда и тысяч аршин холста. Он все старался объяснить, что не в силах сторожить холст и не может отвечать за сторожей декорационных мастерских.

Когда у Коровина вдруг появлялось какое-нибудь интересное кольцо или камень, случайно купленный на Кавказе или в провинции, и вещь эта нравилась Ф. Шаляпину, начинался длинный разговор о продаже, при чем, если вещь эта Шаляпину очень нравилась, он сначала просил ее продать, а потом требовал и настаивал. Если Коровин ее не уступал, Шаляпин начинал сердиться и говорить ему колкости. Коровин за словом в карман не лез, и сцены, обыкновенно, происходили следующего рода:

— Вы, Константин,—говорил Шаляпин,—купили эту вещь дешево и теперь хотите на мне нажить много.

— Кажется, не родился человек, который бы от вас что-нибудь нажил, отвечал Коровин;—вы ведь жох и хотите все получить задаром.

— Ну уж, это извините, я вам даю настоящую цену, но вы не отдаете оттого, что видите, что мне вещь эта очень нравится и хотите этим воспользоваться.

— Чем же я когда от вас пользовался?... И затем шел перечень картин, эскизов и других вещей, дешево, по мнению Коровина, проданных когда-то Шаляпину.

— Вы мне никогда дешево не продавали, а если и продали, то такие картины, за которые вам ничего не давали, ибо лучшие вы продаете не мне, а вашим друзьям—московским купцам.

Потом разговор переходил на имение, очень дешево, по мнению К. Коровина, проданное, вспоминались случаи, когда Коровин, купив случайно на рынке портреты работы Тропинина и Боровиковского, дешево их продал Шаляпину. Затем, однако, оказывалось, что это были копии, и Шаляпин их Коровину возвратил, при чем сказал, что портреты эти дрянь, а не оригиналы, Коровин же обиделся и сказал Шаляпину:

— Если бы картины эти были дрянь, я бы их сам не купил. Я их покупал себе, а вы ко мне пристали их продать, я продал их дешево, а вы хотите купить Рафаэля за 100 рублей. Я тоже не дурак, чтобы терпеть из-за вас убыток.

Но в конце концов все оканчивалось благополучно—оба успокаивались, и вещь, понравившаяся Шаляпину, после долгих споров и разговоров переходила, наконец, к нему, картины же, забранные Шаляпиным, возвращались обратно Коровину. Когда этого последнего спрашивали, зачем он уступает Шаляпину, он говорил:

— Не могу же я с Федором ругаться; ведь он серьезно стал на меня сердиться и обижаться—бог с ним.

Вообще же отношения их были всегда хорошие и дружеские. Шалапин про Коровина иногда говорил.

— Вы не думайте, ведь Константин очень хитер, это он только на вид простоватый.

То же самое Коровин говорил про Шалапина.

— Знаю я Федю, хитер тоже: представляться любит простоватым, широкой натурой, а он просто жмот и поровит меня проведет.

Передо мною два письма Коровина, написанные им в 1916 году моему сыну Всеволоду. Они очень характерны и вполне рисуют этого выдающегося русского художника, наблюдательного, умного и чуткого. Привожу их почти целиком.

Письмо от 9 января 1916 года начинается так:

Когда в Москве я лежал очень больным и потом мне доктор Ш. (знаменитость, как и Захарьин) позволил немного сидеть на постели, я просил мои картины, написанные летом, поставить около себя, чтобы смотреть. Когда через день доктор пришел, то входя в комнату, сказал: „Ого! Ишь, сколько накопал!“ Здесь, в Севастополе, доктор другой. Я стал писать из окна. Мне видна гавань и корабли. Я и написал этот вид. Когда доктор пришел и увидал, что написана картина, то сначала спросил: „Что это?“ Я сказал, что это вид из окна. Он опрометью стал бросаться от одного окна к другому, страшно беспокоясь. „Позвольте мне сравнить? Да неужели это отсюда вы рисуете?“ Он был сильно сосредоточен и нашел, что неготово; и столбов трамвайных еще нет, а потом сразу все беспокойство бросил, или вернее нашел, что не все готово и успокоился, успокоился окончательно и стал меня спрашивать о болезни. Это хороший доктор. Московские, те — каждый по картине спрашивают. Московский доктор Ш. берет 50 руб. за визит и картины отдельно, и их ассистенты — тоже по картине вдобавку.

Шалапин лучше; он покупает, и если не отдашь уж очень дешево, сердится, ссорится, говорит неприятности, в роде Новдрева, а доктора прямо берут, потому кадеты, взгляды светлые. За мной ухаживает сестра милосердия

„Голубого креста“. Утром говорит: „положите рот, у вас в роте хорошо будет, лекарства у вас много, ишь сколько ей, а вы все хвораете“. Странная штука. Сначала она была фельдшерца, и потому получала 150 руб. в месяц. Присмотр нужно было серьезный, так как уколы морфия, камфоры. Потом эта сестра оказалась не фельдшерца, а просто сестра; потом сиделка, потом в конце горничная из лечебницы Постникова. Но почему же „голубой крест“, община и 150 руб.

А, знаешь ли, мне запретили в Севастополе заниматься живописью; не доктора, нет, а просто я спросил позволения у властей писать, а мне ответили: нельзя, военное время — честное слово. А мне так нравится, — строго у нас. Хорошо.. Я теперь больше ничего не буду спрашивать — уж очень все строго. И писать больше не буду картин, ну их к чорту. И кто вскорее мне достал разрешение, кто бы ты думал — еврей Яковсон, музыкант, пианист, ныне солдат, вольноопределяющийся. „Вам, господин Коровин, разрешение сделано, завтра будет“. И действительно, я получил его. И потом все хлопал меня по плечу и говорил: „ничего, мы устроим, вы же знаменитый художник, но они же ничего не понимают“.

Мне же все это кажется странным. Правда, в чем же дело? Севастополь — огромный город. Масса евреев, греков, татар, поляков, разных племен, — получает разрешение художник Ганзен. Разве нужно носить непременно немецкую фамилию, чтобы получить разрешение. Наконец, подумай: у меня аттестат начальника Московского военного округа и министерства двора. Живопись — моя профессия. Я учился в государственном учреждении. Вот я просил у твоего отца: „дайте мне генерала для Крыма“. „Молоды вы“ — говорит. Вот я помираю не генералом, — досадно. Нет правды на земле. А все же странная штука: и краски у меня лежат на столе, кисти, палитра, холст. А попробуй-ка писать — запрещено. Но ведь я академик, старший профессор школы. Вот только фамилия, к сожалению, русская.

Проездом здесь меня навел профессор Т. Собственно, чему он профессор? Кажется, археологии или церковведения — если такая профессура есть. У него есть сын „Кока“, у которого, по рассказу отца, сразу „открылся“ и „поплился“ талант. „Приехал я, — говорит этот профессор, — и вижу — орнаменты лежат на столе“. „Открылось сразу“ — папаша развел руками по воздуху. „Он теперь у меня“ — добавил он — „моя правая рука и уже делает две церкви“. Выгодно.

Здесь один очень симпатичный человек, начальник корабля, крейсера. У него в доме показывал он мне картины и фарфор. Показывал картину „Море“ и сказал—это художника Т.; другую, тоже художника Т. и третью Т. Я сказал, что художник Т.—не очень художник. „Совсем бездарный“.—сказал хозяин. Зачем же он мне их показывал, зачем они у него висят и зачем их писал художник Т.? Но мало того, эти картины Т. дарили в музеи и европейским государственным людям. Разве море и корабли обязательно так плохи и несчастны, что их нужно писать плохим и бездарным господам! Бедные корабли и горькая участь стихии!

Другое письмо написано в начале июня 1916 года.

Еду я сейчас в Крым, в Гурзуф по делу в суд. По милому делу отнятия у меня земли, которую я купил. Называется мое дело „гражданское дело“. Говорят, что оно пройдет в 30 лет все инстанции. Будет исписано столько бумаги, что можно выстроить бумажный дом или издать большую газету. Сколько людей будет занято: мучеников, судей и адвокатов. Суд правый, скорый и милостивый. А по правде сказать, нигде не могло бы и начаться такое дело, и мне кажется. в последнее время вообще мною распоряжаются обезьяны и черти. Еду в первом классе. Вагон-ресторан до Харькова, потому что люди до Харькова—едят, а после Харькова они же непорядочные и им не надо есть следующие сутки до Крыма. Ясно, что пассажиры портятся в течение суток, или до Харькова едут те, которые вообще едят, а после Харькова, которые не едят—это ново. А превесело это все у нас. Главное, что весело и для всех есть занятие поделиться друг с другом. Это то, что нашли, о чем поговорить: „сапоги по сорок пять рублей“. „Что сапоги, я вчера за яйца...“ и т. д. Поезд наш в Харькове остановился на 4 часа. Поехал я в город. Хитрецы гг. харьковские архитектора, все дома построили и строят в финтифлюшках; очевидно, на них влияют бисквитные пироги, или они не в меру влюблены в дам—те финтифлюшки любят до безумия. Я до того несчастлив в жизни, что не понимаю финтифлюшек. А. Я. Головин с финтифлюшкой и потому счастлив. Если бы даже француженка в Париже при мне завила бы себе голову бумажными финтифлюшками, я бы с ней подрался, несмотря на то, что я, в сущности, влюбленный араб. Во мне ведь есть арабская кровь,—этого еще не знает „папа“, оттого я честен и глуп. Когда я

скоро умру, а ты будешь миллионер, будешь кушать финики, не поленись косточку от них посадить на мою могилу—вырастет пальма—для араба приятно.

Странное дело,—уборные I класса так же воняют, как и в третьем. Я спросил инженера, который сидит в купе по соседству. Он мне ничего не ответил,—боюсь, что обиделся,—странный разговор для начала. Благодаря дерзости языка своего, я остаюсь одиноким стариком. Даже „папа“, милый Владимир Аркадьевич. непутем кричит на меня в последнее время, и так кричит, будто я поднял цены на все товары. Ну, погодите же! Скоро я приеду к вам военным в генеральской форме со шпагой. Одно меня беспокоит: изучаю, но плохо, эполеты, могу отдать честь и швейцару. Мое письмо оттого не светского тона, что я много был с актерами, а у них все шутки. Надеюсь, ты меня простишь. Отнюдь не читай письма „мама“.

В живописи мне надоели маэки и ее какая-то корявость—края формы. У стариков не было краев и жазков. Копия натуры имеет в себе какую-то мерзость, ограниченный тупик. Потом, все мы пишем, как надо,—может быть, надо—как не надо?

В этих двух письмах весь Коровин, в этом роде он всегда говорил.

Начал я писать о Ф. Шаляпине и невольно перешел к К. А. Коровину. Но дело в том, что работа в театре так была связана с Ф. И. Шаляпиным, К. А. Коровиным и А. Я. Головиным, что говорить об одном из них, не касаясь невольно других, почти невозможно.

Когда я был назначен директором театров и с 1901 года переехал в Петербург, в моей казенной квартире одна комната предназначена была для Коровина. В ней он постоянно останавливался, приезжая в Петербург. Случалось же это почти ежемесячно. Оставался он 3—4 дня. Почти весь день проводил у меня. Выезжал он только по вечерам, когда я бывал в театре. В театр К. Коровин вообще не ходил ни в Петербурге, ни в Москве. Он, как ни странно, любя театр, не любил представлений, и на них заманить его

было трудно, а если он и приходил, то оставался на сцене или в режиссерской комнате. Мне он часто говорил:

— Я не понимаю, как вам до сих пор еще не надоел театр, и как вы можете ездить каждый день смотреть представления.

Шалапин также в театр ходил редко.

Как известно — не мало инцидентов и разного рода историй происходило у Шалапина на репетициях и спектаклях. Истории эти бывали с капельмейстерами, режиссерами и артистами, но почти всегда на художественной почве. Доходило иногда до того, что он не хотел одеваться, чтобы петь спектакль; бывали случаи, что раздевался во время спектакля, не желая его продолжать, а раз даже в Москве, во время оперы „Русалка“, повздорив с капельмейстером У. Аврамяком, уехал домой с половины спектакля, и с большими усилиями удалось привезти его обратно, чтобы докончить оперу.

Единственным капельмейстером, с которым у него никогда не было никаких столкновений и с которым он серьезно считался, был в Петербурге Э. Направник, а в Москве — С. Рахманинов. С последним он даже был в особо дружеских отношениях одно время.

После инцидентов с артистами, хором или кордебалетом, он охотно соглашался извиняться, но допускать это было крайне рискованно, ибо объяснение начиналось очень хорошо и мирно, но потом он старался объяснить, почему вышло столкновение и, увлекшись, наговаривал еще больше, чем то, что вызвало инцидент. После этого положение еще обострялось и поэтому, когда он выражал готовность извиниться, надо было

его отговаривать и давать ему известное время на успокоение.

Нередко и мне приходилось принимать участие в улаживании инцидентов. Когда с Шалапиным что-нибудь происходило в Мариинском театре, мне немедленно телефонировал Тартаков, и я отправлялся в театр.

На Шалапина очень успокоительно действовал старый режиссер А. Морозов, служивший уже около 50 лет в Мариинском театре. В опере его звали „дядя Саша“. Обыкновенно, к нему первому и обращались. Приезжая в Мариинский театр в подобных случаях, я нередко заставал у дверей уборной Шалапина режиссеров и чиновников конторы, обсуждавших вопрос, входить или нет к нему в уборную, ибо по имеющимся сведениям он нынче свирепо настроен; стояли они в нерешительности, как перед клеткой льва; советовали и мне обождать входить, пока Шалапин немного не остынет. Они боялись, что при появлении нового лица он снова начнет волноваться, а между тем только что выходящий из уборной парикмахер таинственно говорил:

— Федор Иванович успокоился и стали шутить.

Иногда Шалапин во время представления оставался недоволен публикой, особенно часто абонементной, недостаточно тепло его принимавшей. Отказывался выходить на вызовы. Клялся больше не петь в этом театре и т. д. Но в конце концов все оканчивалось благополучно.

В последние годы он больше любил петь в Петербурге, и в Мариинском театре всегда был как-то покойнее. Режиссерская и постановочная часть в этом театре как-то более умели к нему примениться.

Когда в его уборной заводили какое-нибудь усовершенствование, в виде особого зеркала,